

## **А.А. Скулачев**

### **Анализ рассказов В. Шаламова**

#### **План занятия**

1. У. Эко «В каждый текст встроена стратегия его чтения». Стратегии чтения, анализа и интерпретации художественного текста. Специфика эпического текста. Субъект-субъектный метод чтения (Т.А. Касаткина).
2. Работа с первой страницей рассказа В. Шаламова «На представку»:
  - Фиксация «точек удивления», «точек непонимания», исследовательских вопросов;
  - Выделение направлений анализа;
  - Работа с аналитическими линиями:
    - Композиция
    - Хронотоп
    - Библейская символика
    - Тема перевёрнутого мира
    - Тема театральности
    - Литературные цитаты и реминисценции
    - Мотивный анализ: мотивы света и тьмы, металла, игры
3. Анализ окончания рассказа по заданным аналитическим направлениям.
4. Интерпретация рассказа «На представку».
5. «Двойчатка»: «На представку» как рассказ об окончательной гибели без возможности воскресения, «Воскрешение лиственницы» как рассказ о парадоксальном торжестве жизни. Направления анализа и интерпретации рассказа «Воскрешение лиственницы»: композиция, смысл повторов, литературные аллюзии и реминисценции, мотив связи времён и цикличность, символика названия, образов лиственницы, консервной банки, воды, живое и мёртвое в рассказе.

#### **Раздаточный материал**

##### **На представку**

Играли в карты у коногона Наумова. Дежурные надзиратели никогда не заглядывали в барак коногонов, справедливо полагая свою главную службу в наблюдении за осужденными по пятьдесят восьмой статье. Лошадей же, как правило, контрреволюционерам не доверяли. Правда, начальники-практики втихомолку ворчали: они лишались лучших, заботливейших рабочих, но инструкция на сей счет была определена и строга. Словом, у коногонов было всего безопасней, и каждую ночь там собирались блатные для своих карточных поединков.

В правом углу барака на нижних нарах были разостланы разноцветные ватные одеяла. К угловому столбу была прикручена проволокой горящая «колымка» – самодельная лампочка на бензином паре. В крышку консервной банки впаивались три-четыре открытые медные трубки – вот и все приспособление. Для того чтобы эту лампу зажечь, на крышку клали горячий уголь, бензин согревался, пар поднимался по трубкам, и бензиновый газ горел, зажженный спичкой.

На одеялах лежала грязная пуховая подушка, и по обеим сторонам ее, поджав побуряски ноги, сидели партнеры – классическая поза тюремной карточной битвы. На подушке лежала новенькая колода карт. Это не были обыкновенные карты, это была тюремная самодельная колода, которая изготавливается мастерами сих дел со скоростью необычайной. Для изготовления ее нужны бумага (любая книжка), кусок хлеба (чтобы его изжевать и протереть сквозь тряпку для получения крахмала – склеивать листы), огрызок химического карандаша (вместо типографской краски) и нож (для вырезывания и трафаретов мастей, и самих карт).

Сегодняшние карты были только что вырезаны из томика Виктора Гюго – книжка была кем-то позабыта вчера в конторе. Бумага была плотная, толстая – листов не пришлось склеивать, что делается, когда бумага тонка. В лагере при всех обысках неукоснительно отбирались химические карандаши. Их отбирали и при проверке полученных посылок. Это делалось не только для пресечения возможности изготовления документов и штампов (было много художников и таких), но для уничтожения всего, что может соперничать с государственной карточной монополией. Из химического карандаша делали чернила, и чернилами сквозь изготовленный бумажный трафарет наносили узоры на карту – дамы, валеты, десятки всех мастей... Масти не различались по цвету – да различие и не нужно игроку. Валету пик, например, соответствовало изображение пики в двух противоположных углах карты. Расположение и форма узоров столетиями были одинаковыми – умение собственной рукой изготовить карты входит в программу «рыцарского» воспитания молодого блатаря.

Новенькая колода карт лежала на подушке, и один из играющих похлопывал по ней грязной рукой с тонкими, белыми, нерабочими пальцами. Ноготь мизинца был сверхъестественной длины – тоже блатарский шик, так же, как «фиксы» – золотые, то есть бронзовые, коронки, надеваемые на вполне здоровые зубы. Водились даже мастера – самозванные зубопротезисты, немало подрабатывающие изготовлением таких коронок, неизменно находивших спрос. Что касается ногтей, то цветная полировка их, бесспорно, вошла бы в быт преступного мира, если б можно было в тюремных условиях завести лак. Холеный желтый ноготь поблескивал, как драгоценный камень. Левой рукой хозяин ногтя перебирал липкие и грязные светлые волосы. Он был подстрижен «под бокс» самым аккуратнейшим образом. Низкий, без единой морщинки лоб, желтые кустики бровей, ротик бантиком – все это придавало его физиономии важное качество внешности вора: незаметность. Лицо было такое, что запомнить его было нельзя. Поглядел на него – и забыл, потерял все черты, и не узнать при встрече. Это был Севочка, знаменитый знаток терца, штоса и буры – трех классических карточных игр, вдохновенный истолкователь тысячи карточных правил, строгое соблюдение которых обязательно в настоящем сражении. Про Севочку говорили, что он «превосходно исполняет» – то есть показывает умение и ловкость шулера. Он и был шулер, конечно; честная воровская игра – это и есть игра на обман: следи и уличай партнера, это твое право, умей обмануть сам, умей отспорить сомнительный выигрыш.

Играли всегда двое – один на один. Никто из мастеров не унижал себя участием в групповых играх вроде очка. Садиться с сильными «исполнителями» не боялись – так и в шахматах настоящий боец ищет сильнейшего противника.

Партнером Севочки был сам Наумов, бригадир коногонов. Он был старше партнера (впрочем, сколько лет Севочке – двадцать? тридцать? сорок?), черноволосый малый с таким страдальческим выражением черных, глубоко запавших глаз, что, не знай я, что Наумов железнодорожный вор с Кубани, я принял бы его за какого-нибудь странника – монаха или члена известной секты «Бог знает», секты, что вот уже десятки лет встречается в наших лагерях. Это впечатление увеличивалось при виде гайтана с оловянным крестиком, висевшего на шее Наумова, – ворот рубахи его был расстегнут. Этот крестик отнюдь не был кощунственной шуткой, капризом или импровизацией. В то время все блатные носили на шее алюминиевые крестики – это было опознавательным знаком ордена, вроде татуировки.

В двадцатые годы блатные носили технические фуражки, еще ранее – капитанки. В сороковые годы зимой носили они кубанки, подвергивали голенища валенок, а на шее носили крест. Крест обычно был гладким, но если случались художники, их заставляли иглой расписывать по кресту узоры на любимые темы: сердце, карта, крест, обнаженная женщина... Наумовский крест был гладким. Он висел на темной обнаженной груди Наумова, мешая прочесть синюю наколку-татуировку – цитату из Есенина, единственного поэта, признанного и канонизированного преступным миром:

Как мало пройдено дорог,  
Как много сделано ошибок.

– Что ты играешь? — процедил сквозь зубы Севочка с бесконечным презрением: это тоже считалось хорошим тоном начала игры.

– Вот, тряпки. Лепеху эту... – И Наумов похлопал себя по плечам.

– В пятистах играю, – оценил костюм Севочка.

В ответ раздалась громкая многословная ругань, которая должна была убедить противника в гораздо большей стоимости вещи. Окружающие игроков зрители терпеливо ждали конца этой традиционной увертюры. Севочка не оставался в долгу и ругался еще язвительней, сбивая цену. Наконец костюм был оценен в тысячу. Со своей стороны, Севочка играл несколько поношенных джемперов. После того как джемперы были оценены и брошены тут же на одеяло, Севочка стасовал карты.

Я и Гаркунов, бывший инженер-текстильщик, пилили для наумовского барака дрова. Это была ночная работа – после своего рабочего забойного дня надо было напилить и наколоть дров на сутки. Мы забирались к коногонам сразу после ужина – здесь было теплей, чем в нашем бараке. После работы наумовский дневальный наливал в наши котелки холодную «юшку» – остатки от единственного и постоянного блюда, которое в меню столовой называлось «украинские галушки», и давал нам по куску хлеба. Мы садились на пол где-нибудь в углу и быстро съедали заработанное. Мы ели в полной темноте – барачные бензинки освещали карточное поле, но, по точным наблюдениям тюремных старожилов, ложки мимо рта не пронесешь. Сейчас мы смотрели на игру Севочки и Наумова.

Наумов проиграл свою «лепеху». Брюки и пиджак лежали около Севочки на одеяле. Игралась подушка. Ноготь Севочки вычерчивал в воздухе замысловатые узоры. Карты то исчезали в его ладони, то появлялись снова. Наумов был в нательной рубашке – сатиновая косоворотка ушла вслед за брюками. Услужливые руки накинули ему на плечи телогрейку, но резким движением плеч он сбросил ее на пол. Внезапно все затихло. Севочка неторопливо почесывал подушку своим ногтем.

– Одеяло играю, – хрипло сказал Наумов.

– Двести, – безразличным голосом ответил Севочка.

– Тысячу, сука! – закричал Наумов.

– За что? Это не вещь! Это – локш, дрянь, – выговорил Севочка. – Только для тебя – играю за триста.

Сражение продолжалось. По правилам, бой не может быть окончен, пока партнер еще может чем-нибудь ответить.

– Валенки играю.

– Не играю валенок, – твердо сказал Севочка. – Не играю казенных тряпок.

В стоимости нескольких рублей был проигран какой-то украинский рушник с петухами, какой-то портсигар с вытисненным профилем Гоголя – все уходило к Севочке. Сквозь темную кожу щек Наумова проступил густой румянец.

– На представку, – заискивающе сказал он.

– Очень нужно, – живо сказал Севочка и протянул назад руку: тотчас же в руку была вложена зажженная махорочная папироса. Севочка глубоко затянулся и закашлялся. – Что мне твоя представка? Этапов новых нет – где возьмешь? У конвоя, что ли?

Согласие играть «на представку», в долг, было необязательным одолжением по закону, но Севочка не хотел обижать Наумова, лишать его последнего шанса на отыгрыш.

– В сотне, – сказал он медленно. – Даю час представки.

– Давай карту. – Наумов поправил крестик и сел. Он отыграл одеяло, подушку, брюки – и вновь проиграл все.

– Чифирку бы подварить, – сказал Севочка, укладывая выигранные вещи в большой фанерный чемодан. – Я подожду.

– Заварите, ребята, – сказал Наумов.

Речь шла об удивительном северном напитке – крепком чае, когда на небольшую кружку заваривается пятьдесят и больше граммов чая. Напиток крайне горек, пьют его глотками и закусывают соленой рыбой. Он снимает сон и потому в почете у блатных и у северных шоферов в дальних рейсах. Чифирь должен бы разрушительно действовать на сердце, но я знал многолетних чифиристов, переносящих его почти безболезненно. Севочка отхлебнул глоток из поданной ему кружки.

Тяжелый черный взгляд Наумова обводил окружающих. Волосы спутались. Взгляд дошел до меня и остановился.

Какая-то мысль сверкнула в мозгу Наумова.

– Ну-ка, выйди.

Я вышел на свет.

– Снимай телогрейку.

Было уже ясно, в чем дело, и все с интересом следили за попыткой Наумова.

Под телогрейкой у меня было только казенное нательное белье – гимнастерку выдавали года два назад, и она давно истлела. Я оделся.

– Выходи ты, – сказал Наумов, показывая пальцем на Гаркунова.

Гаркунов снял телогрейку. Лицо его побелело. Под грязной нательной рубашкой был надет шерстяной свитер – это была последняя передача от жены перед отправкой в дальнюю дорогу, и я знал, как берег его Гаркунов, стирая его в бане, суша на себе, ни на минуту не выпуская из своих рук, – фуфайку украли бы сейчас же товарищи.

– Ну-ка, снимай, – сказал Наумов.

Севочка одобрительно помахивал пальцем – шерстяные вещи ценились. Если отдать выстирать фуфаячку да выпарить из нее вшей, можно и самому носить – узор красивый.

– Не сниму, – сказал Гаркунов хрипло. – Только с кожей...

На него кинулись, сбили с ног.

– Он кусается, – крикнул кто-то.

С пола медленно поднялся Гаркунов, вытирая рукавом кровь с лица. И сейчас же Сашка, дневальный Наумова, тот самый Сашка, который час назад наливал нам супчику за пилку дров, чуть присел и выдернул что-то из-за голенища валенка. Потом он протянул руку к Гаркунову, и Гаркунов всхлипнул и стал валиться на бок.

– Не могли, что ли, без этого! – закричал Севочка. В мерцавшем свете бензинки было видно, как сереет лицо Гаркунова.

Сашка растянул руки убитого, разорвал нательную рубашку и стянул свитер через голову. Свитер был красный, и кровь на нем была едва заметна. Севочка бережно, чтобы не запачкать пальцев, сложил свитер в фанерный чемодан. Игра была кончена, и я мог идти домой. Теперь надо было искать другого партнера для пилки дров.

## Воскрешение лиственницы

Мы суеверны. Мы требуем чуда. Мы придумываем себе символы и этими символами живем.

Человек на Дальнем Севере ищет выхода своей чувствительности – не разрушенной, не отравленной десятилетиями жизни на Колыме. Человек посылает авиапочтой посылку: не книги, не фотографии, не стихи, а ветку лиственницы, мертвую ветку живой природы.

Этот странный подарок, иссушенную, продутую ветрами самолетов, мятую, изломанную в почтовом вагоне, светло-коричневую, жесткую, костистую северную ветку северного дерева ставят в воду.

Ставят в консервную банку, налитую злой хлорированной обеззараженной московской водопроводной водой, водой, которая сама, может, и рада засушить все живое, – московская мертвая водопроводная вода.

Лиственницы серьезней цветов. В этой комнате много цветов, ярких цветов. Здесь ставят букеты черемухи, букеты сирени в горячую воду, расщепляя ветки и окуная их в кипяток.

Лиственница стоит в холодной воде, чуть согретой. Лиственница жила ближе к Черной речке, чем все эти цветы, все эти ветки – черемухи, сирени.

Это понимает хозяйка. Понимает это и лиственница.

Повинуясь страстной человеческой воле, ветка собирает все силы – физические и духовные, ибо нельзя ветке воскреснуть только от физических сил: московского тепла, хлорированной воды, равнодушной стеклянной банки. В ветке разбужены иные, тайные силы.

Проходит три дня и три ночи, и хозяйка просыпается от странного, смутного скипидарного запаха, слабого, тонкого, нового запаха. В жесткой деревянной коже открылись и выступили явственно на свет новые, молодые, живые ярко-зеленые иглы свежей хвои.

Лиственница жива, лиственница бессмертна, это чудо воскрешения не может не быть – ведь лиственница поставлена в банку с водой в годовщину смерти на Колыме мужа хозяйки, поэта.

Даже эта память о мертвом тоже участвует в оживлении, в воскрешении лиственницы.

Этот нежный запах, эта ослепительная зелень – важные начала жизни. Слабые, но живущие, воскрешенные какой-то тайной духовной силой, скрытые в лиственнице и показавшиеся на свет.

Запах лиственницы был слабым, но ясным, и никакая сила в мире не заглушила бы этот запах, не потушила этот зеленый свет и цвет.

Сколько лет – исковерканная ветрами, морозами, вертящаяся вслед за солнцем, – лиственница каждую весну протягивала в небо молодую зеленую хвою.

Сколько лет? Сто. Двести. Шестьсот. Зрелость даурской лиственницы – триста лет.

Триста лет! Лиственница, чья ветка, веточка дышала на московском столе, – ровесница Натальи Шереметевой-Долгоруковой и может напомнить о ее горестной судьбе: о превратностях жизни, о верности и твердости, о душевной стойкости, о муках физических, нравственных, ничем не отличающихся от мук тридцать седьмого года, с бешеной северной природой, ненавидящей человека, смертельной опасностью весеннего половодья и зимних метелей, с доносами, грубым произволом начальников, смертями, четвертованием, колесованием мужа, брата, сына, отца, доносивших друг на друга, предававших друг друга.

Чем не извечный русский сюжет?

После риторики моралиста Толстого и бешеной проповеди Достоевского были войны, революции, Хиросима и концлагеря, доносы, расстрелы.

Лиственница сместила масштабы времени, пристыдила человеческую память, напомнила незабываемое.

Лиственница, которая видела смерть Натальи Долгоруковой и видела миллионы трупов – бессмертных в вечной мерзлоте Колымы, видевшая смерть русского поэта, лиственница живет где-то на Севере, чтобы видеть, чтобы кричать, что ничего не изменилось в России – ни судьбы, ни человеческая злоба, ни равнодушие. Наталья Шереметева все рассказала, все записала с грустной своей силой и верой. Лиственница, ветка которой ожила на московском

столе, уже жила, когда Шереметева ехала в свой скорбный путь в Березов, такой похожий на путь в Магадан, за Охотское море.

Лиственница источала, именно источала запах, как сок. Запах переходил в цвет, и не было между ними границы.

Лиственница в московской квартире дышала, чтобы напоминать людям их человеческий долг, чтобы люди не забыли миллионы трупов – людей, погибших на Колыме.

Слабый настойчивый запах – это был голос мертвых.

От имени этих мертвецов лиственница и осмеливалась дышать, говорить и жить.

Для воскрешения нужна сила и вера. Сунуть ветку в воду – это далеко не все. Я тоже ставил ветку лиственницы в банку с водой: ветка засохла, стала безжизненной, хрупкой и ломкой – жизнь ушла из нее. Ветка ушла в небытие, исчезла, не воскресла. Но лиственница в квартире поэта ожила в банке с водой.

Да, есть ветки сирени, черемухи, есть романсы сердцещипательные; лиственница – не предмет, не тема для романсов.

Лиственница – дерево очень серьезное. Это – дерево познания добра и зла, – не яблоня, не березка! – дерево, стоящее в райском саду до изгнания Адама и Евы из рая.

Лиственница – дерево Колымы, дерево концлагерей.

На Колыме не поют птицы. Цветы Колымы – яркие, торопливые, грубые – не имеют запаха. Короткое лето – в холодном, безжизненном воздухе – сухая жара и стынущий холод ночью.

На Колыме пахнет только горный шиповник – рубиновые цветы. Не пахнет ни розовый, грубо вылепленный ландыш, ни огромные, с кулак, фиалки, ни худосочный можжевельник, ни вечнозеленый стланик.

И только лиственница наполняет леса смутным своим скипидарным запахом. Сначала кажется, что это запах тленья, запах мертвецов. Но приглядишься, вдохнешь этот запах поглубже и поймешь, что это запах жизни, запах сопротивления северу, запах победы.

К тому же – мертвецы на Колыме не пахнут – они слишком истощены, обескровлены, да и хранятся в вечной мерзлоте.

Нет, лиственница – дерево, непригодное для романсов, об этой ветке не споешь, не сложишь романс. Здесь слово другой глубины, иной пласт человеческих чувств.

Человек посылает авиапочтой ветку колымскую: хотел напомнить не о себе. Не память о нем, но память о тех миллионах убитых, замученных, которые сложены в братские могилы к северу от Магадана.

Помочь другим запомнить, снять со своей души этот тяжелый груз, видеть такое, найти мужество не рассказать, но запомнить. Человек и его жена удочерили девочку – заключенную девочку умершей в больнице матери – хоть в своем, личном смысле взять на себя какую-то обязанность, выполнить какой-то личный долг.

Помочь товарищам – тем, кто остался в живых после концлагерей Дальнего Севера...

Послать эту жесткую, гибкую ветку в Москву.

Посылая ветку, человек не понимал, не знал, не думал, что ветку в Москве оживят, что она, воскресшая, запахнет Колымой, зацветет на московской улице, что лиственница докажет свою силу, свое бессмертие; шестьсот лет жизни лиственницы – это практическое бессмертие человека; что люди Москвы будут трогать руками эту шершавую, неприхотливую жесткую ветку, будут глядеть на ее ослепительно зеленую хвою, ее возрождение, воскрешение, будут вдыхать ее запах – не как память о прошлом, но как живую жизнь.